



Анна Айгарова

У.Н.Р.О:
Кодекс некроманта



Анна Айдарова

И.Н.Ро.: Кодекс некроманта

<https://litres.ru/74238354>

Аннотация

БЕСПЛАТНО В ПРОЦЕССЕ. ВТОРАЯ КНИГА СЕРИИ (можно читать отдельно) Вместо богатого наследства Ботред Веласкес — сильный некромант и великий ученый — оставляет сыну проклятые сны. Одна случайность, допущенная в экспедиции, влечет за собой гибель проводника и гнев местного божка, властвующего над снами и смертью. Ботред умер, но гнев бога не остановить такой малостью. И с каждой ночью сны Леона Веласкеса все больше переходят в явь, оставляя следы в реальности.

Проклятие домокловым мечом висит над молодым преподавателем Королевской Академии Смерти, не давая ему возможности быть с любимой девушкой.

Он отправляется в Завесу — единственное место, в котором есть надежда получить ответы и разрушить проклятия. Только вот почти невозможно вернуться оттуда живым.

Содержание

Пролог	4
Глава 1.	11
Глава 2.	20
ДИСПУТ №1 «Категорический императив и право души на посмертное невмешательство»	31
Глава 3.	38
Глава 4.	42
Глава 5.	52
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Пролог

Африка, 1793 год.

Святылище Ндоло.

...А пока только кровь жертвенных коз, чьи черепа белели у входа в хижину, сложенную из камня, окрашивала землю. Внутри горела масляная лампа, и свет ее выхватывал из темноты стены, сплошь покрытые знаками. Никто не знал, сколько этим знакам лет: сто? Или тысяча? Или больше.

Ндоло не считал. Ндоло вообще не считал время так, как считают живые. Для него время не было линией, только петлёй. Сном, который повторялся каждую ночь, с небольшими изменениями.

Ботред Веласкес стоял на коленях перед алтарём из чёрного дерева. Европейский некромант, авантюрист, обладатель восемнадцати жён и коллекции запретных свитков, которую он прятал в медном сундук, инкрустированным черным деревом с черного континента.

И вот теперь очередь дошла и до этого племени. Ботред прибыл в эти дебри месяц назад, заплатил золотом, подарил несколько артефактов, которые в Европе выглядели как бесполезные блестящие игрушки, зато здесь стоили целое состояние. Шаман, старик с лицом, похожим на высохший плод, долго смотрел на него водянистыми глазами, а потом сказал:

«Ты хочешь говорить с Ндоло. Ндоло не говорит с теми, кто не умеет слушать. Ты умеешь слушать?»

«Умею», — соврал Ботред.

Он умел слушать только одного человека — себя. Но шаман, возможно, это знал. Шаманы всегда знают больше, чем говорят. Просто иногда молчат, чтобы посмотреть, как далеко зайдёт глупец.

Сейчас Ботред сидел на коленях уже три часа. Подушки под коленями не было, и каменный пол успел натереть кожу до ссадин, и теперь при каждом движении было больно. Поэтому Ботред старался лишний раз не двигаться. Проводник — местный мальчишка, которого Ботред нанял за нож с костяной рукояткой — сидел на корточках у входа, сжимая в руке амулет из слоновой кости. Мальчишку звали Косу. Ему было лет десять, и он уже знал, что боги не прощают тех, кто приходит к ним с пустыми руками, зато с полными жажды обладания мыслями.

— Ты уверен, что Ндоло захочет говорить? — спросил Косу, когда лампа начала мигать. Масло кончалось.

— Он не захочет, — ответил Ботред, не оборачиваясь. — Но я попробую.

Он достал из кармана магический компас — латунный, с рунами на ободке, купленный у алхимика в Марселе за тридцать золотых марок. Компас не показывал стороны света. Он показывал эфирные потоки, разрывы между мирами, места,

где Завеса становилась тоньше. Стрелка дрожала, металлическая, с заострённым концом, и указывала не на алтарь, а в угол, где в тени лежала стопка старых пергаментов.

Один из них был не таким, как остальные.

Более тёмный, с обгоревшим краем. Чернила на нём так и не высохли до конца, хотя свитку было не меньше трёхсот лет. Они блестели в свете лампы влажным, жидким серебром, и когда Ботред смотрел на них, ему казалось, что буквы движутся. Перетекают одна в другую, складываются в слова на языке, которого он не знал, но от которого по спине бежали мурашки.

— Это умпака, — прошептал Косу, заметив его взгляд. — Договор. Не трогай.

— Что за договор?

— Между Ндоло и теми, кто живёт по ту сторону. Без него он не отличает сны живых от снов мёртвых. Все сны становятся одинаковыми. И тогда можно заблудиться. Навсегда.

Ботред усмехнулся. Сказки. У них в Европе тоже есть сказки: о леших, о домовых, о призраках, которые не могут найти дорогу домой. Он не верил в сказки. Он верил в факты, в эфир, в расчёты. В Завесу. И в то, что можно измерить и воспроизвести.

Он протянул руку к свитку.

Львы пришли без звука.

Ни треска веток, ни шороха песка. Они просто возник-

ли из темноты — три силуэта, которые внезапно уплотнились, отяжелели, обрели форму. Шкуры искрились тусклым серебром, как поверхность старого зеркала, в которое никто не смотрелся годами. Глаза горели жёлтым, как лампы в шахтах, где добывают эфир из костей древних гигантов.

Духи-хранители явились, когда их позвали. Стражи Ндоло. Стражи сна и яви.

Косу вскрикнул и тут же зажал рот руками. Ндоло не прощал разрушения тишины.

— Быстро, — Косу схватил Ботреда за плечо. — Уходим. Сейчас. Пока они не заговорили.

Но Ботред отмахнулся. Он уже схватил свиток. Обгоревший край царапнул ладонь, и по коже внезапно пробежал холод — непоправимое свершилось.

Львы смотрели, Косу трясся, завывая и приплясывая, чтобы задобрить Ндоло. Но Ндоло это раздражало куда сильнее, чем визит белого.

И львы бросились вперед.

Ботред, застывший со свитком в руке, так и не понял, откуда взялось пламя, вдруг залившее всю хижину.

— Бежим, белый господин, — умолял Косу, тряся непонятливого спутника и чуть ли не силой вытягивая из хаоса огня и рыка.

Все, что он успел — выхватить горсть пергаментов, пока их не поглотил огонь. Он рассовывал свитки по карманам, торопясь и пытаясь захватить как можно больше, пока вко-

нец обезумевший Косу не вытолкнул его из святилища.

Они бежали через заросли колючей акации. Ветки хлестали по лицу, оставляя царапины, которые потом будут болеть несколько дней. Львы — нет, не преследовали. Они остались стоять у входа в святилище, три серебряных изваяния, и смотрели вслед. У одного из них, самого крупного, с шерстью, тронутой сединой, глаза горели не жёлтым, а белым. Светом без тепла, как зимнее солнце в пустыне.

И Ндоло смотрел из них.

— Ты взял... — выдохнул Косу, когда они остановились у реки. Река называлась Липута, вода в ней была чёрной от растительного перегноя и отражала звёзды, которых здесь было больше, чем в небе над Европой. — Ты взял то, что нельзя забирать. Без этих свитков Ндоло не сможет различать сны. Он перепутает живых и мёртвых. Ты понимаешь? Перепутает!

— Всё будет хорошо, — сказал Ботред, хотя сам уже не был уверен. — мы вернем их. Если бы не мы, это сокровище сгорело... понимаешь? Мы спасли Ндоло.

Он говорил уверенно, вот только никакой уверенности не было.

— Завтра будет поздно, — шептал Косу, трясаясь на цинковке.

С рассветом Ботред отправился к шаману. Почтительно выложив перед ним спасенные из огня свитки, он рассказал

о том, что случилось ночью в святилище. И о том, как он вытащил свитки. И о том, что Ндоло должен быть спокоен — ничего не пропало, все возвращено. Шаман молчал.

А через неделю умер Косу.

Львы пришли в деревню. Он возвращался от колодца с кувшином воды, а львы стояли и смотрели на Косу своими пылающими глазами. И они не тронули его — просто прошли сквозь тело, и тело осталось целым, но пустым. Как будто кто-то вынул душу тонкими пальцами и забыл положить обратно. Глаза Косу остались открытыми, и в них отражалось небо, слишком синее, слишком чужое.

В деревне плакали женщины. Старый шаман посмотрел на Ботреда и сказал: «Ты принёс смерть. Уходи. Пока Ндоло не решил, что ты достоин большего, чем просто смерть».

Шаман не знал. Ботред не знал. Маленький обрывок обожженного пергамента с одним единственным словом остался в кармане сюртука.

Ндоло знал.

Проклятие не пришло сразу. Оно пришло позже, в Европе, когда Ботред уже поседел, а из сорока пяти его детей, рождённых от девятнадцати жён, выжил только один. Мальчик. Остальные умирали во младенчестве, не доживая до первого крика, или рождались мёртвыми, с закрытыми глазами, как будто уже видели что-то, что их убило.

Один выжил. И Ботред возблагодарил небеса за избавле-

ние от проклятия Ндоло. Только проклятие не исчезло. Оно просто научилось ждать. Оно текло в крови, как медленный яд, переходило из состояния в состояние и сжималось в спираль, чтобы развернуться в нужный момент. Когда родится тот, кто сможет видеть сны мёртвых и просыпаться. Кто будет помнить каждую смерть, каждую боль, каждое последнее «почему».

А обрывок свитка так и остался лежать в кармане куртки, которую Ботред надел в ту ночь. Куртка теперь заканчивала свой век, тлея среди тряпок на чердаке особняка Ботреда. Но свиток сохранился — его нельзя уничтожить обычным путем, огнём или водой, потому что он был частью договора, а договоры с Ндоло не горят. Они ждут. Они терпеливы.

Как память. Как напоминание. И как дверь, которую однажды придётся закрыть, чтобы кто-то мог наконец проснуться без крика.

Глава 1.

Он проснулся от того, что комната пахла кровью. Его собственной кровью. Это он уже научился различать. Чужая кровь пахла железом и чем-то сладковатым, как гнилые фрукты. Собственная же — почти ничем, но ощутимо застывшим. И обычно воздух становился солоноватым и странно сжимался. Только в этот раз пахло сильнее, чем обычно, и Леон понял: рана глубокая.

Он открыл глаза не сразу. Сначала прислушался к себе — к пульсирующей крови в висках, к привычной тяжести в ноге. Теперь сильно саднило плечо. Пульс был слишком частым, нога отказывалась слушаться, а плечо горело так, будто кто-то приложил к нему раскалённое клеймо.

Во сне было копьё. Длинное, с наконечником из чёрного дерева, который вошёл в плечо и застрял там, между ключицей и лопаткой. Он помнил, как пытался его вытащить, но пальцы скользили по древку, а перед глазами плыло лицо женщины, которая кричала на языке, которого он не понимал, но который узнавал.

И снилось это уже не в первый раз.

Только раны каждый раз были новыми.

Пришлось возвращаться в реальность. Потолок комнаты был каменным, с трещинами, которые тянулись от одной сте-

ны к другой, как ветви старого дерева. Над кроватью висела рунная сеть — тонкие серебряные нити, сплетённые в ячейки, с маленькими амулетами на узлах. Сеть слегка пульсировала зелёным, когда он шевелился, и тускнела, когда замирал. Он купил её три года назад у торговца артефактами в портовом районе Гендена за сумму, которая тогда показалась ему огромной, зато ни разу не пожалел о своей покупке, тогда казавшейся простой блажью (но уж очень его заворовили руны). Зато теперь она оказалась просто необходимой. Без неё сны иногда просачивались в реальность не только через раны, но и через стены: призраки являлись без зова, голоса звучали в пустых комнатах, тени двигались, когда не должны были... А может, было и что-то еще, чего Леон не замечал.

Сеть помогала. Не всегда, но помогала.

Леон сел на кровати, скрипнув зубами от боли в плече. Левая нога затекла, пальцы ступни не слушались — предыдущее ранение снова напомнило о себе. Он пошевелил ногой, дождался, пока тупая боль растечётся по бедру, и только после этого встал. Босиком, на холодный каменный пол. Привык уже. За десять лет скитаний по разным местам он научился не замечать холода, как научился не замечать усталости, голода и косых взглядов.

Подошёл к зеркалу. Трещина в стекле пересекала отражение поперёк лица, так что один глаз выглядел узким, почти

восточным, а другой — широким, европейским. Собственно, так оно и было. Узкие глаза он унаследовал от матери, которую отец привёз из Кансу, с того самого востока, где даже мёртвые не лежат спокойно, а бродят по рисовым полям в ожидании, когда их кто-нибудь вспомнит. Европейскую ширококостность — от отца. Отец был красивым мужчиной, с квадратной челюстью, пышными усами и привычкой разбрасывать по кабинету книги, которые уже не мог прочитать из-за старческой катаракты.

Леон провёл пальцами по шраму на плече. Рана была свежей, кожа вокруг покраснела, но воспаления не было — он уже знал, что проклятые раны не гноятся. Они просто болят. И заживают куда медленнее обычных, как будто время в них застревает.

В углу комнаты стоял столик с утренним ритуалом: три стеклянных флакона, медный чайник с длинным носиком, ручная мельница для трав. Леон насыпал в мельницу щепотку сухих корней, добавил листья мяты и две высушенные ягоды можжевельника — от отёков. Заварил. Ждал ровно три минуты, пока настой не потемнел до цвета старого янтаря. Пил маленькими глотками, не морщась от горечи. Надо. Привык. Могло быть хуже.

Потом — амулеты. Он носил их не на шее, а вшитыми в подкладку сюртука: три пластины из полированного камня, которые гасили эфирные всплески, и маленькая костяная фигурка человека с закрытыми глазами — символ тишины.

Каспар когда-то сказал, что это не помогает, а только создаёт иллюзию контроля. Леон тогда пробормотал, что иллюзия контроля лучше отсутствия контроля. Спор они так и не закончили, но фигурку Леон носить не перестал.

Одевался он медленно. Сначала — нательная рубашка из грубого льна, она впитывала пот, когда снились кошмары. Потом еще одна, с латунными пуговицами, на которых были выгравированы руны, защищающие от порчи. Брюки — кожаные, мягкие. Это пока надежно защищало его от новых травм в реальном мире. Пока. Но вот надолго ли?

Левый ботинок пришлось зашнуровывать слабее правого — нога распухла, и кожа на лодыжке натянулась, блестя, как на старой свече. Тонкий кожаный корсет-жилетка с наплечниками и наручами. Леон усмехнулся, затягивая ремни — на левом плече слабее, чем на правом. Надел кожаные перчатки.

Трость стояла у двери. Чёрное дерево, набалдашник из слоновой кости, выточенный в виде волчьей головы. Он получил её в подарок от декана Альтманна, когда хромота стала заметной. «Чтобы вы не падали с лестницы, — сказал Альтманн. — У нас и так призраков достаточно, вы будете лишним, Леон». Это была шутка. И Леон почти улыбнулся.

Он вышел в коридор.

Академия практически вся еще спала. Раннее утро в КАС

было временем, когда даже призраки замедлялись, застывая в дверных проёмах и на лестничных пролётах, как рыбки в холодной воде.

Свет от магических светильников падал на каменные стены жёлтыми кругами, в которых плясали пылинки. Пахло воском, старым деревом и чем-то сладковатым — консервирующими составами, которыми обрабатывали книги в библиотеке.

Он шёл медленно. Трость стучала по камню в ритме, который он знал наизусть: удар, пауза, удар. Левая нога волочилась, но он старался делать вид, что просто не спешит. Студенты, которые встречались ему на пути, отводили взгляды. Они привыкли. Новенькие иногда пялились, но быстро отучались — преподаватель Веласкес умел смотреть так, что взгляд становился физическим, почти осязаемым, и желание пялиться проходило само собой.

На третьем этаже Северной башни, за портретом философа с усами, располагался факультет ЛОГОС. Портрет был старым, масляным, и усы на нём облупились так, что философ казался то усатым, то беззубым, в зависимости от освещения. Студенты шутили, что это метафора неопределённости бытия. Леон считал, что это просто плохая реставрация. Впрочем, все это было не важно.

Дверь его кабинета была приоткрыта. Внутри горел свет — значит, кто-то уже заходил. Подобного Леон не любил. Но

поделать ничего не мог.

Леон толкнул дверь, и навстречу ему из темноты выплыл знакомый силуэт.

— Вы рано, — сказал Каспар Лихт, не оборачиваясь. Призрак парил у окна, глядя на серое небо, которое только начинало светлеть. — Снова кошмар?

— Снова, — Леон повесил трость на крючок у двери. — Копьё в плечо. И женщина, которая кричит. Я её не понимаю, но знаю, о чём она кричит.

— О чём?

— «Ты не должен был брать это».

Каспар наконец повернулся. Его призрачное лицо было спокойным, почти скучающим, но в глазах мелькнуло что-то похожее на беспокойство. Он был стар, даже по меркам призраков. Смерть застала его в 1689 году, когда он споткнулся на лестнице собственной библиотеки, и с тех пор он ни разу не изменился — ни лицом, ни голосом, ни привычкой цитировать Канта к месту и не к месту. Но иногда, когда он думал, что никто не видит, его призрачные пальцы начинали дрожать. Как сейчас.

— Вы знаете, что это за сны, — сказал Каспар.

— Знаю. Проклятие отца. Не знаю только, из какого именно места он прихватил его...

— И вы всё ещё не рассказали Милице.

Леон промолчал. Подошёл к столу, на котором стопкой лежали студенческие работы, и начал перебирать их, не гля-

дя на имена. Бумага шуршала под пальцами, чернила пахли сухой горечью, как настой из корней, который он пил утром.

— Она на четвёртом курсе, — сказал он наконец. — У неё будут экзамены, потом распределение. Ей не нужны мои проблемы. Ей...

— Ваши проблемы уже стали её проблемами. Вы целовались.

— Это было... ошибкой.

— Любовь не ошибка, герр Веласкес. Любовь — это катастрофа. Разница в том, что ошибки можно исправить, а катастрофы — только пережить.

Леон поднял голову. Посмотрел на призрака. Каспар смотрел в ответ, и в его глазах не было привычной насмешки. Было что-то другое. Может быть, усталость. Может быть, понимание.

— Я переживу, — сказал Леон.

— Возможно. Но переживёт ли она?

Каспар, посчитав, что загнал оппонента в тупик, готов был снисходительно позволить юному коллеге промолчать.

— Переживет, — утвердительно кивнул Леон. И его тон никаких трактовок и возражений не допускал. — Девушки удивительно быстро переживают абсолютно все, если понимают, что впереди отсутствует светлое будущее. И вдвойне быстрее, если избранник не может содержать даже себя. Она переживет.

Каспару действительно было, что сказать: за триста с лиш-

ним лет нежелания уйти в Завесу он повидал... достаточно много и разного. Только кажется, что захудалый И.Н.РО. — место для ученых бесполезных червей. Но Каспар растаял в воздухе, оставив после себя запах старого пергамента и холодного воска и так и не пожелав ответить.

Леон остался один.

За окном светало. Серое небо понемногу наливалось розовым, и на горизонте показались очертания крыш — башни, шпили, трубы, из которых вился лёгкий пар.

Академия просыпалась. Где-то внизу хлопнула дверь, раздались голоса, стук каблуков. Через час начнутся лекции, и он будет стоять у доски и объяснять первокурсникам, почему нельзя поднимать мёртвых без согласия души, даже если очень хочется. А они будут слушать и не понимать. Или понимать, но делать вид, что не понимают. Студенты всегда так делают.

Он достал из ящика стола пергамент: «Кодекс некроманта. Глава 4, параграф 2. О посмертном согласии». Пальцы коснулись тонко выделанной кожи... Остановился.

Плечо болело, нога пульсировала, а в груди, где-то под рёбрами, ныло что-то ещё, чему он не знал названия. Тоска? Страх? Или предчувствие того, что эта зима будет куда длиннее, чем прошлая? И что сны не закончатся даже тогда, когда он перестанет их видеть.

Он отложил свиток, застегнул все пуговицы, взял трость и вышел в коридор, где его уже ждали тени, отбрасываемые

утренним светом.

Глава 2.

Милица проснулась за полчаса до рассвета, как всегда. В Сербии, в деревне, где она жила до того счастливого момента, как попала в Академию Смерти, у неё остались пять младших братьев и сестёр. И одна комната на всех. Как тут не научиться вставать раньше, чем кто-либо успевал занять единственный умывальник?

Здесь, в Королевской Академии Смерти, у неё была своя каморка в общежитии для бюджетников, и даже отдельная кровать. Роскошь, о которой она не смела мечтать дома. Правда, кровать скрипела, а по ночам в трубах вздыхали призраки, которых забыли изгнать, но Милица привыкла. Она вообще привыкала ко всему быстро. Иначе-то в её положении нельзя.

Милица умылась ледяной водой из кувшина, оставленного с вечера. Надела тёмно-зелёную мантию факультета Ритуальной некромантии — ткань была дешёвой — и за три года носки основательно выцвела, — но чистой. Волосы заплела в толстую косу, перекинула через плечо. Мельком посмотрела в зеркало — маленькое, треснутое, доставшееся от прошлой жилички. Только мельком, убедиться, что волосы гладко причесаны. Она не была красивой в том варианте, который выдавали за эталон привлекательности на плакатах в богатых районах Гендена, так что и смотреть-то было осо-

бенно не на что. Хотелось ли ей повторить идеал плаката? Бессмысленно было врать себе. Сейчас хотела. Больше, чем когда-либо.

В коридоре пахло формалином и жареным луком — где-то внизу уже гремела посудой столовая. Милица спустилась на первый этаж, прошла мимо портрета основателя академии (старик с лицом, похожим на сморщенное яблоко, взирал на неё с выражением вечного разочарования) и свернула в восточное крыло. Здесь находилось маленькое хранилище, где она иногда успокаивала особо буйных призраков. Не за деньги — так, для практику. И просто хотелось приносить пользу. Хотя бы призракам. Ей нравилось быть полезной.

Сегодня её ждал дух старого библиотекаря, который умер в 1447 году и с тех пор никак не мог смириться с тем, что книги перестали переписывать от руки. Он жаловался на печатные станки, на смартмаки и на студентов, которые, по его словам, «читают глазами, а не сердцем».

Милица выслушала его, кивнула, предложила перенести в библиотеку новое кресло — удобнее, чем то, в котором он застрял после смерти. Призрак подумал и согласился.

— Вы добрая, — сказал он, когда она уже уходила. — Не как те, другие.

— Доброта не имеет значения, — ответила Милица. — Важно, чтобы вам стало легче.

Она не добавила, что делает это не только из доброты.

Успокаивая призраков, она чувствовала, как её собственный дар — редкий, почти забытый — становится острее. Она могла слышать не только слова, но и то, что за ними стояло. Страх, сожаление, любовь, которую не успели высказать. Иногда это пугало. Чаще пугало.

В коридоре, ведущем к лестнице, она столкнулась с Идой.

Ида Лихт перешла на второй курсе факультета ЛОГОС, что означало: она проводила больше времени в библиотеке, чем в аудиториях, и говорила так, будто каждое слово могло стать началом философского трактата. Сейчас она бежала, прижимая к груди прозрачную сферу, внутри которой сидел рыжий кот.

— Милица! Ты не поверишь! — крикнула Ида, запыхавшись. — Пиксель снова открыл портал в столовую! Прямо во время завтрака! Представляешь, он вытащил сосиску из тарелки профессора Штофф!

— Я не представляю, но верю, — Милица улыбнулась. — Твой кот — единственное существо в академии, которое делает что хочет, и ему действительно на все плевать, — Милица иногда могла высказаться грубовато. Страдала от этого, убежденная, что Леону... профессору Веласкесу это не нравится.

— Это потому что он не фамильяр, — гордо сказала Ида. — Он — экзистенциальная случайность. Так дедушка Каспар сказал.

— Каспар много говорит. Ты уверена, что он не просто придумывает слова, чтобы выглядеть умнее?

Ида задумалась. Пиксель тем временем чихнул, и прямо перед ними, в воздухе, на секунду проявился разрыв — тонкий, как нитка, с одной стороны которого виднелась каменная кладка академии, а с другой — мятная лужайка и синий гриб. Пиксель сунул лапу в разрыв, вытащил кусочек сыра и принялся жевать.

— Видишь? — с гордостью сказала Ида. — Он не слушается никого. Даже законов физики.

Милица хотела ответить, но в этот момент из-за угла вышел декан факультета Ритуальной некромантии — Марта Свон, сухопарая женщина с лицом, которое, казалось, было вырезано из старой кости. За ней шёл студент в дорогой мантии, с золотыми застёжками и надменным выражением лица. Милица узнала его. Лаврентий фон Дорн, сын банкира, который учился на том же курсе, но посещал лекции реже, чем появлялся в ресторанах столицы.

— Зачёт по этике, — прошептала Ида, дёргая Милицу за рукав. — Ему нужно получить зачёт. Я слышала разговор вчера в подсобке.

— И что ты делала в подсобке?

— Искала сметану для Пикселя.

Милица покачала головой, но промолчала. Декан Свон и Лаврентий остановились у двери кабинета. Старуха остановилась у двери, неприязненно косясь на студентов. Наконец,

дверь поддалась. Декан открыла створку, вошла внутрь. Лаврентий гордо прошествовал за ней.

— Ничего удивительного, — сказала Милица тихо. — Удивительно, что это происходит у нас на факультете.

— У нас на факультете? — переспросила Ида. — Милица, у нас на факультете даже книги покупают на взятки. Ты что, не знала?

Знала. Но знать и видеть — разные вещи.

Они пошли дальше, и где-то на втором этаже, в коридоре, где висели портреты бывших ректоров, Милица вдруг остановилась. В дальнем конце галереи, опираясь на трость, стоял Леон Веласкес. Он рассматривал картину — пейзаж, на котором была изображена Завеса в одном из её нестабильных состояний: туман, обрывки памяти, силуэты, которые не могли определиться, быть им людьми или тенями.

— Герр Веласкес, — Ида подбежала к обожаемому профессору. Она до сих пор периодически влюблялась в него, примерно раз в неделю, — посмотрите, Пиксель... он совсем от рук отбился. А вы сегодня рано.

— Я не сплю, — ответил он, не оборачиваясь. — Соответственно, не могу ни рано, ни поздно.

Пиксель высунул морду из сферы, чихнул и исчез — не в портале, а просто закрыл глаза и стал похож на спящего плюшевого кота.

А Ида оглянулась на подругу, сделала странные глаза — Милица не поняла, что это значит, и на всякий случай не

ответила, — и убежала искать Пикселю завтрак.

Милица осталась одна.

— Я видела, как декан Свон берёт взятку, — сказала она.

Леон повернулся. В его тёмных, чуть раскосых глазах не было удивления. Только усталость.

— Давно пора.

— Вы знали?

— Я знаю многое, фройляйн Милица. Знание не равно возможности действовать.

— А если бы действовали? Вы бы могли...

— Что? — он опёрся на трость, перенеся вес на здоровую ногу. — Написать донос? Скажите, Милица, а вы верите, что это все изменит?

Милица сжала кулаки.

— Я не философ, герр профессор. Просто...

— Просто вам обидно. Вы столько сил вкладываете в учебу, так хотели попасть сюда, а некоторым все далось сразу и без усилий... не так ли? Но природа денег... понимаете... — он снова переступил и поморщился. — У каждого из нас разный старт. И всегда найдется тот, чьи условия куда лучше ваших. И ожидать справедливости от того, что по определению справедливым быть не может... видите ли, это не принесет никому ни удовлетворения, ни счастья.

Милица смотрела на его лицо и не знала, чего больше хочет: негодовать от того, что ее любимый... профессор не хочет принципиально и яростно выступить за справедливость,

или любоваться им.

— Я... я понимаю, профессор, — пробормотала она, наконец отводя взгляд.

И почему-то вспомнила, как он, вот такой же отрешенный и непроницаемый, стоял перед советом Академии, когда ему вменяли в вину страшное нарушение: романтические отношения со студенткой... с ней самой... и поцелуй. Единственный за все время. После которого он так смутился. И даже извинился за свою несдержанность. А Милица только и хотела еще раз эту несдержанность испытать на себе вновь... Он уже прихрамывал тогда, но теперь все стало хуже — без трости он не выходил...

— Хорошо, — серьезно кивнул он. — Я понимаю вас. Но система... вы знаете. И понимаете, что этого не изменить.

Леон посмотрел на неё долго, так долго, что Милица начала считать про себя: раз, два, три, четыре... На шестнадцатом счёте он спросил:

— Это все?

— Нет, герр Веласкес. Я хотела подойти к вам после лекций, но раз мы уже говорим... Может быть, вы поможете мне с моей бакалаврской диссертацией? Мой научный руководитель недоволен формулировками и аргументацией. И герр Лихт настоятельно советует обратиться к вам за помощью...

— Приходите сегодня вечером в библиотеку. С диссертацией.

— Спасибо.

— Не благодарите. Это не этично. Я помогаю вам, потому что это моя обязанность. А не потому, что вы мне...

Он замолчал.

Милица тоже молчала. Потому что в воздухе повисло то, что они оба не хотели произносить.

По вечерам библиотека всегда была пуста. Студенты разошлись по комнатам или сидели в столовой, где сегодня давали пирог с мясом (Ида утащила кусок для Пикселя, и тот немедленно открыл портал в неизвестном направлении). Каспар Лихт висел над кафедрой, делая вид, что не замечает никого, но его призрачный взгляд всё равно скользил в сторону двери, за которой слышались шаги.

Милица вошла первой. Леон — следом, придерживая дверь, чтобы та не хлопнула. Каспар соизволил повернуться.

— А, фройляйн Милица. Пришли учиться бумажной магии? Умно. В отличие от некоторых, вы понимаете, что настоящая сила — в правильно заполненном формуляре.

— Здравствуйте, господин Лихт.

— Здравствуйте, — нехотя ответил он. — Садитесь. Веласкес, вы будете стоять? Или вам подать стул?

— Буду стоять, — Леон опёрся на трость, прислонившись спиной к книжному стеллажу.

Каспар начал было лекцию о структуре диссертационного исследования, зачем-то о прецедентном праве и о том, как формулировать и аргументировать. Говорил он заумно,

с немецким акцентом, вставляя кантовские термины в каждое предложение. Милица слушала внимательно, иногда задавая вопросы. Леон молчал, и это молчание для него было тяжелее, чем любой разговор.

Когда Каспар дошёл до параграфа о «границах допустимого в кодексе», дверь приоткрылась, и в библиотеку впорхнула Ида с Пикселем в сфере. Кот немедленно вылез наружу, запрыгнул на стол и устался на Милицу. Но когда девушка протянула руку погладить рыжего красавца по спинке, зашипел и выгнулся, распушив шерсть. А потом спрыгнул на пол и пошел тереться о штанину Леона.

— Дедушка, — сказала Ида, — а можно я послушаю? Мне нужно для эссе по этике.

— Я тебе пра-пра-пра-прадедушка, невоспитанное дитя! И не называй меня так! Тебе нужно для эссе? — ворчал Каспар, — научиться отличать Канта от Гегеля? Оставайся, что уж. Может быть, хоть твой кот просветится.

Пиксель чихнул. Каспар покраснел — насколько может краснеть призрак.

— Итак, — продолжил он, — проблема кодекса в Академии — это вопрос трансцендентальной этики. Приведем пример. Когда декан берёт взятку, он ставит свою максимум (получить выгоду) выше всеобщего закона. Он делает себя исключением. Но Кант учил, что...

— Извините, — перебила Милица. — А можно не с Канта? Можно поближе к практике? Так все же в Академии бе-

рут взятки?

Каспар замер. Леон усмехнулся.

— Она права, Каспар. Давайте без априорных синтезов. Давайте вернемся к нашим проблемам. И покинем отвлеченные эмпирии. У фрейляйн Милицы есть проблема. И ее нужно решить практически.

— Вы... вы заговорили, — Каспар уставился на Леона. — Я думал, вы решили играть роль статуи.

— Я передумал.

Ида переводила взгляд с одного на другого, сжимая в руках сферу. Пиксель тоже переводил взгляд с одного на другого. Потом посмотрел на Леона, улегся на его левый ботинок и задремал.

— Какой сегодня прекрасный вечер, — сказала Ида, чтобы заполнить тишину. — Прямо хочется философствовать.

— Вот и философствуйте, — буркнул Каспар. — И лучше о категорическом императиве. Применим ли он к воскрешению без согласия души?

Вопрос повис в воздухе, как тяжелый занавес. Милица почувствовала, что сейчас начнется то, ради чего она, возможно, и пришла сюда — не только за знаниями, но и за чем-то ещё. Например, спор, который может изменить то, как она сама смотрит на смерть.

Леон молчал, но в его глазах что-то вспыхнуло. Он выпрямился, убрал трость в сторону и сказал:

— А давайте обсудим. Только сразу предупреждаю: я не

согласен с Кантом во всём.

Каспар потер руки — призрачные, почти прозрачные, но от этого менее довольным выглядеть не перестал.

— Наконец-то, герр Веласкес. Я уж думал, вы забыли, что такое научный диспут.

Пиксель открыл глаза, потянулся и сел, приготовившись слушать. Или просто ждать, когда кто-нибудь уронит сыр. С котом никогда не угадаешь.

ДИСПУТ №1 «Категорический императив и право души на посмертное невмешательство»

(Библиотека ЛОГОСа, поздний вечер. Каспар Лихт парит над кафедрой, сложив руки на груди. Леон стоит, опираясь на трость. Милица сидит за столом и готова записать самое интересное или самое нужное, рядом с ней пристроилась Ида, а Пиксель устроился на стопке книг и делает вид, что дремлет.)

Каспар:

— Как сказал многоуважаемый коллега Кант в «Критике практического разума», основным законом чистого практического разума является следующая максима: «Поступай так, чтобы максима твоего поступка могла стать всеобщим законом». Вопрос, который я хотел бы вынести на наше обсуждение: применим ли категорический императив к воскрешению души без её явно выраженного согласия?

Леон:

— Позвольте уточнить, герр Лихт. Вы говорите о воскрешении *in absentia* — когда душа не может дать согласия? Или о воскрешении вопреки её воле? Это две разные этические ситуации.

Каспар:

— Разумеется, я говорю о первом случае. Воскрешение вопреки воле — это прямое нарушение морального закона, и спорить здесь не о чем. Но когда душа находится в *status passivus* — неспособности выразить свою волю из-за аффекта, травмы или пребывания в так называемых «глухих слоях» Завесы, — тогда наш долг как носителей практического разума предписывает нам действовать. Вопрос: как именно действовать?

Милица:

— Простите, что перебиваю. В Сербии мы в таких случаях ставим банку с эфирными чернилами. Если чернила вспыхивают зелёным — душа согласна. Если красным — нет. Это не подходит?

Каспар (с лёгким раздражением):

— Фройляйн Милица, ваш эмпирический метод — это прекрасный пример апостериорного суждения, но он не решает вопроса о необходимости морального закона. Кант спрашивал не о том, как узнать волю души, а о том, какова природа долга по отношению к душе, которая не может себя выразить. Эмпирический индикатор — это всего лишь феномен, за которым стоит ноуменальная реальность свободы. Или вы полагаете, что цвет чернил способен заместить трансцендентальный акт свободного выбора?

Милица (помолчав):

— Я полагаю, что если душа не может говорить, надо искать другие способы её услышать. Не только чернила. Тем-

пературу, эфирный фон, образы, которые она проецирует. И это не философия, это практика.

Каспар:

— Однако практика без теории слепа, фройляйн Милица. Именно поэтому я и предлагаю рассмотреть вопрос с позиции рефлектирующей способности суждения. Леон, вы хотели возразить?

Леон (опирается на трость сильнее, его голос звучит спокойно, но с лёгкой насмешкой):

— Как сказал многоуважаемый коллега Каспар, Кант учил нас, что человек — цель, а не средство. Применяя эту максиму к душе, мы обязаны признать её субъектность даже в состоянии *status passivus*. Следовательно, наш долг — не «действовать за неё», а создать условия для проявления её автономии. Ваш категорический императив в чистом виде требует от нас не воскрешать, а ожидать, пока душа не сможет дать согласие сама. Даже если это ожидание продлится вечность.

Каспар (оживляется):

— Но позвольте! Ожидание *in infinitum* есть отказ от действия, что само по себе является действием — а именно, выбором пассивности. Кант не предписывает нам бесконечно откладывать моральный поступок. Если душа не может проявить свою волю, то наше бездействие равносильно признанию её не-субъектом, что противоречит принципу человеческого достоинства.

Леон:

— Согласен. Однако здесь возникает апория: с одной стороны, действовать без согласия — значит использовать душу как средство. С другой стороны, бездействовать — значит бросить её в «трансцендентальной заброшенности». Решение, как мне кажется, лежит в различии между воскрешением как возвращением в тело и помощью как сопровождением. Я не обязан возвращать душу в мир живых, но я обязан попытаться установить с ней диалог. Даже если диалог будет длиться годы.

Каспар:

— Диалог! Вы апеллируете к герменевтике, но герменевтика предполагает знание языка. Душа после смерти часто теряет способность к линейной речи, переходя на язык образов, боли, повторяющихся циклов. Как вы будете вести диалог с тем, кто говорит на языке, которого вы не понимаете?

Ида (робко поднимает руку):

— Простите, можно мне?.. Пиксель иногда пытается мне что-то сказать. Он не говорит словами, но я понимаю, когда он хочет есть, а когда — спать. Потому что смотрю на него. Может быть, с душами так же? Нужно просто смотреть и ждать?

Пиксель, услышав своё имя, открывает один глаз, чихает, и чернильница на столе на секунду вспыхивает зелёным.

Каспар (смотрит на чернильницу, потом на Иду):

— Das ist... anecdotal evidence. Не более того.

Милица (усмехается):

— Анекдотическое свидетельство, которое повторилось уже трижды за этот вечер. Может быть, пора признать, что кот — более надёжный индикатор, чем кантовская дедукция?

Леон (почти улыбается):

— Фройляйн Милица, вы предлагаете заменить категорический императив *felis catus*?

Милица:

— А почему бы и нет? Если мы не можем быть уверены в трансцендентальной свободе души, но можем эмпирически зафиксировать её реакцию на присутствие живого существа — разве это не даёт нам право действовать? Не на основе чистого разума, а на основе феноменологической очевидности.

Каспар (вздыхает):

— Вы скатываетесь в утилитаризм, фройляйн Милица. «Действуй так, чтобы принести максимальное благо максимальному числу душ» — это не этика, это бухгалтерия. Но я впечатлен уже тем, что вы употребляете термин “трансцендентальный” к месту и... разумно.

Леон:

— Герр Лихт, попросил бы вас проявлять уважение. И внесу свою лепту в обсуждение. А что, если золотая середина? Мы не можем ждать вечно, но не должны и действовать насильно. Поэтому я предлагаю: воскрешение-как-предложение. Мы создаём ритуальную форму, которая не подчиняет душу, а предлагает ей временное возвращение. Если она

принимает — хорошо. Если нет — мы фиксируем отказ и прекращаем попытки. Это не нарушает категорический императив, потому что мы уважаем душу как цель, а не как средство.

Каспар (задумчиво):

— То есть вы постулируете этический статус ритуального предложения как медиума между действием и бездействием? Это... нетривиально. Однако где гарантия, что ваше «предложение» не будет воспринято душой как принуждение? Ведь сам акт предложения уже предполагает властную асимметрию: вы — живой некромант, она — умершая душа.

Леон:

— Гарантия — в языке. Я буду говорить с душой не на языке приказа, а на языке просьбы. «Если ты хочешь — возвращайся. Если нет — оставайся. Я не буду тебя судить».

Милица (тихо):

— А если она не понимает языка?

Леон (смотрит на неё):

— Тогда я буду молчать. Иногда молчание — единственный язык, который не причиняет боли.

Пиксель открывает оба глаза, чихает ещё раз, и чернильница вспыхивает зелёным, а затем красным, а затем снова зелёным.

Ида:

— Кажется, он не может определиться.

Каспар (бормочет):

— Наша дискуссия — тоже в тупике.

Он замолкает. Тишина в библиотеке становится плотной, почти осязаемой. Леон смотрит на Милицу, Милица — на Леона. Ида гладит Пикселя. Кот мурлычет.

Каспар (наконец):

— Мы не пришли к согласию. Но, возможно, согласие и не требуется. Важно, что мы обозначили границы проблемы. Завтра я запишу этот диспут в свой трактат. А сейчас — всем спать.

Он исчезает, оставив после себя запах старого пергамента и холодного воска.

— Ну, — говорит Ида, поднимаясь, — как вам? Я ничего не поняла, но было красиво.

— Фройляйн Милица, мы так и не поговорили толком о вашей диссертации. Оставьте мне текст, я посмотрю и завтра вечером мы обязательно поговорим, — Леон направляется к двери. Удар-пауза-удар. Звук трости раздается несколько медленнее, чем утром.

— Спасибо, герр профессор, — говорит Милица. — Я занесу папку на кафедру.

Леон кивает, не оборачиваясь.

Пиксель чихает в последний раз и залезает в сферу.

Глава 3.

На следующее утро Милица проснулась с ощущением, что вчерашний вечер был сном. Диспут в библиотеке, тёмные глаза Леона, когда он говорил о молчании, Каспар, бормочущий про Канта, и рыжий кот, чихающий в чернильницу. Всё это казалось неправдой. Но боль в левом плече — она зацепилась за косяк, когда выходила из библиотеки — была настоящей, и это успокаивало. Боль не врёт.

Она оделась быстрее обычного, застегнула мантию на все пуговицы и вышла в коридор. В академии пахло утренним кофе, жареным хлебом и, как всегда, чем-то сладковатым — то ли консервантами из библиотеки, то ли призраками, которые всю ночь бродили по пустым аудиториям.

В столовой было шумно. Студенты с факультета кадаврики сидели за дальним столом и спорили о лучшем способе консервации пальцев. Скелетоники молчали — впрочем, они всегда молчали, потому что их декан считал, что разговоры мешают работе. Милица взяла поднос с кашей (той самой, которая иногда философствует) и села у окна, откуда был виден внутренний двор.

Ида ворвалась в помещение и тут же подсела к подруге, держа сферу с Пикселем на коленях.

— Ты видела Лаврентия? — спросила она, кивая в сторону угла, где за отдельным столиком восседал сын банкира в

компании двух таких же богатых студентов. — Он сегодня получил зачёт по этике. Хотя я собственными ушами слышала, как он вчера спорил с лектором, что Кант — это «какой-то немец, который ничего не понимает в жизни».

— Уши могут ошибаться, — сказала Милица безучастно. Этот разговор начинал напоминать ей вчерашнее утро. И в чем-то она вдруг начала понимать Леона.

— Мои уши не ошибаются. Я, когда хочу, слышу, как в подвале призраки перешёптываются. Это труднее, чем подслушивать студентов.

Пиксель высунул лапу из сферы и попытался стащить кусочек хлеба с тарелки Милицы.

— Убери его, — устало сказала Милица.

— Он не ест, он просто изучает. Экспериментирует.

— С моим завтраком?

— С природой карманных миров.

Милица не стала спорить. Она поднялась, оставив недоеденную кашу Пикселю (который немедленно открыл маленький портал и утащил тарелку в неизвестном направлении), и пошла к выходу.

Её ждала лекция по энергетической геологии душ, которую вёл профессор Малакай Блэквуд. Он был молод, носил перчатку на левой руке и ходил с тростью — точь-в-точь как Леон, только причина была другой. Поговаривали, что он потерял несколько пальцев на ступне во время последней экспедиции в Завесу, когда пытался поймать фантома. Сам Бл-

эквуд эти слухи не комментировал, но и не опровергал, только усмехался и говорил: «Если бы вы знали, что такое настоящий страх, вы бы не задавали глупых вопросов».

Лекция была скучной. Милица записывала формулы распределения эфирных потоков, краем уха слушая объяснения о том, как изменяется плотность Завесы в местах массовых захоронений. В середине занятия к ней подсел парень с соседнего ряда — тощий, с веснушками и вечно взъерошенными волосами. Его звали Марти, он учился на факультете магии и специализировался на проклятиях.

— Слышала новость? — прошептал он.

— Какую?

— Лаврентий вчера отмечал зачёт в ресторане. Угощал всех шампанским. Говорит, что «теперь этика ему по зубам». Но он даже не открыл учебник.

Милица поморщилась.

— Это не новость. Это то, что все знают. Ну, вот мы с тобой знаем. И что?

— А то, что я — проклинатель. Моё дело — проклинять, а не надеяться.

Он отвернулся, но не ушел, сел рядом и задумался. Милица тоже задумалась. Она очень хотела задуматься о диссертации. Но получалось не очень хорошо. Нет, не так. Думать получалось, но вовсе не о диссертации.

В голове крутился вчерашний разговор с Леоном. «Я по-

могу вам». Он не шутил. И еще он ждал её сегодня — после обеда, в библиотеке. Милица проверила время. До назначенного времени оставалось четыре часа.

Она не знала, что скажет. Не знала, как начать. Но знала, что если не сейчас, то потом будет поздно. Почему поздно?

И еще Милица почувствовала, как внутри поднимается что-то горячее. Возмущение? Или надежда?

Глава 4.

Библиотека ЛОГОСа к вечеру как всегда опустела. Эфирные лампы мерцали зелёным, и в их свете каменные стены казались влажными, как после дождя. Леон сидел за столом, положив перед собой раскрытую папку Милицы — её бакалаврскую диссертацию. Исписанные листы лежали веером, некоторые были отмечены на полях красными чернилами его мелким, аккуратным почерком.

Милица сидела напротив, стараясь не смотреть на его руки. Длинные пальцы, бледная кожа, лёгкая дрожь, которую он старался скрыть, переворачивая страницы.

Она смотрела в бумаги. В строчки, которые он уже успел исчеркать карандашом и чернильными пометками. Каждая буква начинала для нее приобретать особый смысл.

— Ваша аргументация во второй главе, — сказал Леон, не поднимая глаз, — страдает эмпирической избыточностью. Вы приводите четыре примера из практики, но не выводите из них общего принципа. Это не этика, это протокол наблюдений.

— А что должно быть вместо?

— Вместо этого — дедукция. От общего к частному. Кант...

— Не надо Канта, — перебила Милица. — Я его наизусть знаю. И его мыли не помогли ни одному призраку, которого

я успокаивала.

Каспар, паривший над кафедрой, возмущённо зашевелился.

— Фройляйн Милица, позвольте заметить, что Кант не обязан помогать призракам. Он обязан давать нам ориентиры мышления. А вы смешиваете теорию с практикой — это методологическая ошибка.

— Господин Лихт, я пришла за помощью к профессору Веласкесу, не для того, чтобы слушать ваши... — она запнулась, подбирая слово, — ваши трансцендентальные дифирамбы.

— Дифирамбы? Это оскорбительно.

— Зато честно.

Леон поднял голову. В его глазах мелькнуло что-то похожее на недоумение: он расслышал в интонациях Милицы досаду.

— Оставьте, Каспар. Фройляйн Милица права. Кант не должен быть единственным инструментом. Но, — он повернулся к Милице, — полностью отказываться от теории тоже нельзя. Без неё ваша диссертация станет сборником историй. А комиссия любит истории только с печеньем и за чашкой чая.

Милица открыла рот, чтобы ответить, но в этот момент дверь библиотеки приоткрылась.

В проёме стояла Марта Свон, декан факультета Ритуальной некромантии. Сухопарая, в безукоризненно белой блуз-

ке, с лицом, точно вырезанным из старой кости. Её глаза — маленькие, водянистые — пробежали по комнате: Леон, Милица, Каспар. Она искала повод для подозрения. И не находила. Досадно. Леон стоял у доски (и на доске были свежие надписи), Милица сидела за одной из парт, и чернила на ее пергаменте еще не высохли — явно писала.

— Веласкес, — сказала Марта, даже не поздоровавшись.
— Вы здесь. Вот как.

— Как видите, фрау Свон.

— Консультируете студентку?

— Помогаю с диссертацией. Это входит в мои обязанности.

— В ваши обязанности, — Марта многозначительно выделила последнее слово, — входит многое. Некоторые пункты вы, кажется, предпочитаете игнорировать.

Каспар подплыл ближе, нависая над деканом. Она даже не вздрогнула — привыкла за сотню лет.

— Фрау Свон, — сказал призрак, — если вы намекаете на статью 17 Кодекса о недопустимости романтических отношений между преподавателем и студенткой, то позвольте вас заверить: единственные отношения, которые я здесь наблюдаю, — это мучительный процесс научного редактирования. Скудный, сухой и абсолютно этичный.

Марта Свон посмотрела на Милицу. Та сидела, придвинув стул к столу, и держала перо наготове. Никакого смущения, никакой краски. Только сосредоточенность.

— Хорошо, — сказала декан. — Но я буду следить.

— Это ваша обязанность, — ответил Леон, слегка поклонившись. — Это ваша работа.

Фрау Свон вышла, плотно закрыв дверь. Каспар фыркнул.

— Наглая женщина. Уже пыталась шантажировать вас, герр Веласкес? О... Я-то заметил, как она смотрела. Как будто знает что-то, чего не знаем мы.

— Она ничего не знает, — ровно сказал Леон. — Потому что ничего нет.

Милица почувствовала, как краснеет и опустила голову. Эти слова ударили её сильнее, чем камень. Он сказал это так спокойно, так уверенно... “Ничего нет”. Значит, того вечера — поцелуя, смущения, его извинений — для него не было. Или было, но он решил забыть.

Буквы на пергаменте расплывались. Она заставила себя не думать. Забыть. Диссертация — вот, что важно. Иначе не получить диплом. И...

— Давайте продолжим, — сказала она ровно. — Вы говорили об общем принципе.

Леон кивнул и продолжил объяснять, как выстроить аргументацию от категорического императива к эмпатическому резонансу.

Он говорил спокойно, чуть хрипловатым голосом, иногда останавливаясь, чтобы подобрать слово. Милица слушала, записывала, но краем глаза заметила, как его рука все заметнее дрожала, когда он перекладывал лист.

Сначала она не придавала значения. Потом увидела, как Леон побледнел. Ещё минуту назад его лицо было просто бледным — обычная для некроманта бледность. Теперь оно стало серым, почти прозрачным, как у призрака.

— Герр Веласкес, — сказала она, — вы в порядке?

— В полном, — ответил он, но голос его звучал непривычно глухо.

Каспар тоже заметил.

— Леон, у вас кровь.

— Что? — Милица встала, обошла стол.

Леон отодвинулся, но не успел. На левом рукаве его тёмно-зелёной рубашки, там, где кожаный наруч прилегал к локтю, расплывалось пятно. И оно увеличивалось прямо на глазах. Кровь сочилась сквозь ткань, все больше пропитывая ее.

— Это пустяки, — сказал Леон, пытаясь зажать рану рукой. — Не обращайтесь внимания. Продолжим.

— Пустяки не кровоточат так, — Милица уже стояла рядом. — Снимайте.

— Что?

— Снимайте наруч. И рубашку. Надо перевязать. Или вы...

— Это не...

— Я сказала — снимайте.

Каспар, висевший над ними, растерянно моргал.

— Мне выйти? — спросил он.

— Выйдите, — отрезала Милица, — если хотите. Главное — заткнитесь.

Призрак покраснел — насколько может краснеть призрак — и испарился, оставив после себя странный шлейф в виде призрака старого пергамента.

Леон тяжело сел на стул и замер. Милица сама расстегнула пряжку на его кожаном наруче. Он вздрогнул, но не сопротивлялся. Пальцы её дрожали — и она злилась на себя за это. Стянула наруч, положила на стол. Потом начала расстёгивать пуговицы на его рубашке. Ткань была дешёвой, плохо отглаженной, с заметными потёртостями на манжетах и воротах. Он носил её каждый день. Значит, единственная... Почему-то Милице стало горько.

— Не надо снимать полностью, — сказал он тихо. — Достаточно спустить с плеча.

Она послушалась. Левый рукав сполз вниз, открывая бледное плечо и глубокую странную рану. Будто кто-то копьём проткнул. Края были рваными, воспалёнными, но не гноились. Явно болезненно. И кровь всё ещё сочилась, медленно, не останавливаясь.

Милица сжала зубы.

— Что это?

— Сон, — ответил Леон. — Копьё. Женщина, которая кричит.

— Почему вы не зашили?

— Не придал значения. Все нормально. Пройдет.

Она достала из кармана своей мантии чистый платок — серый, в мелкую клетку, всегда носила с собой на случай, если нужно вытереть чернила или зажать кровь очередному зомби, сбежавшему от кадавриков. Сложила платок в несколько слоёв, прижала к ране. Леон вздрогнул, сглотнул.

— Держите, — грубо сказала Милица, накрывая платок его ладонью. — Плотно. Слышите меня? Леон?

Он открыл глаза и кивнул.

Сама нашла в шкафчике у стены маленькую аптечку — йод, бинты, ножницы. В библиотеке всегда был порядок — Каспар следил за этим.

Потом она обрабатывала края раны, а Леон смотрел в сторону.

— Милица, — сказал он вдруг. — У меня есть вопрос.

— Да?

— Если рубашку постирать немедленно, она высохнет к утру?

Она замерла. Не ожидала. Не о ране, не о том, что он опять провёл ночь в кошмаре. О рубашке.

— У вас... это единственная? — спросила она тихо.

Он не ответил. Отвернулся.

Милица закончила перевязку. Затянула бинт, проверила, не слишком ли туго. Потом взяла его руку, лежавшую на столе, и сжала пальцы.

— Высохнет, — сказала она. — И я всё сделаю. Постираю, отглажу, утром будет у вас. А если нужно...

— Не нужно. Зачем вам это? — сказал он, не глядя на неё.

Милица долго молчала. Эфирные лампы мерцали зелёным. Тишина стала плотной, почти осязаемой.

— Затем, что вы мне не безразличны, герр Веласкес, — сказала она наконец. — Хотя и делаете вид, что вам это не нужно.

Он медленно повернул голову. В его глазах, тёмных, чуть раскосых, мелькнуло что-то необычное. Но он ничего не сказал. Только кивнул.

Милица отпустила его руку. Встала.

— Завтра принесу вашу рубашку. А пока — не снимайте повязку. И ради всего святого, попросите Каспра не ворчать. Вам нужен покой.

Каспар, который всё это время парил под потолком, делая вид, что его нет, обиженно фыркнул:

— Я никогда не ворчу. Я аргументирую. Вас раздражает логичность аргументации, фройляйн?

— Главное, аргументируйте молча, — буркнула Милица, собирая свои бумаги.

Она вышла, не оглядываясь. Но в дверях остановилась на секунду, прижала ладонь к косяку и тихо сказала:

— До завтра, Леон.

— До завтра, — ответил он.

Дверь закрылась. Леон опустил голову, рассматривая перевязанную руку. Бинты были наложены аккуратно, ровно, с

заботой, к которой он не привык. На столе так и лежал окровавленный наруч. Он взял его в руки, повертел, потом положил обратно.

— Каспар, — сказал он. — Вы здесь?

— Здесь, — отозвался обиженный призрак-философ из угла. — И молчу. Аргументированно.

— Спасибо.

— Не за что. Она права. Вы нуждаетесь в заботе. Даже если отрицаете это.

Леон не ответил. Отодвинул папку с диссертацией, закрыл глаза. В груди ныло, плечо пульсировало, но хотя бы кровь больше не текла. Платок Милицы — серый, в клетку — лежал рядом, пропитанный красным. Он аккуратно сложил его.

— Каспар...

— Что угодно, коллега?

— Здесь есть что-нибудь... одеться?

— Мантия? Мантия есть. Студенческая, но вам все равно... или нет?

— Мне все равно, — подтвердил Леон.

Он накинул принесенную призраком темно-фиолетовую мантию, и положил платок Милицы в карман.

Потом встал, взял трость и побрёл к выходу.

Эфирные лампы гасли одна за другой. Библиотека погружалась в темноту, и только запах воска и старой бумаги оста-

вался висеть в воздухе.

Глава 5.

Милица вышла из библиотеки и быстро, почти бегом направилась к лестнице. Сердце колотилось. Она боялась, что кто-то увидит её с его вещами, увидит эту рубашку в её руках и донесёт Марте Свон. И тогда Леону придётся снова стоять перед советом, объясняться, оправдываться, снова переживать унижения. Она не могла этого допустить.

Она не заметила, как оказалась на чердаке.

Там было темно, холодно, пахло сухой древесиной и пылью. Свет пробивался только через маленькое окно, затянутое старой паутиной. Идеальное место для одиночества. Идеальное место, чтобы её никто не увидел. И главное — никто не подумал бы искать её здесь, потому что чердак считался «обиталищем призраков». Призраки за своей обыденностью юных некромантов мало интересовали. Самое безопасное место.

Милица села на ящик, развернула рубашку и впервые как следует рассмотрела её. Ткань была старой, вытертой до блеска на локтях. Воротник был поношен, пуговицы — только выглядели одинаково, с разными оттенками, будто их меняли несколько раз. Она провела пальцами по ткани: заштопанный рукав, неправильно пришитая пуговица на манжете. Если бы кто-то увидел это, то сразу понял бы, что Леон беден. Не просто скромн, а по-настоящему беден, так беден,

что у него нет даже сменной рубашки. И это стало бы его новым унижением.

Она сжала зубы, достала таз и ведро. Вода нужна холодная, а лучше ледяная: кровь отстирывается только так. С этим проблем в Академии не было.

Опустила руки в ледяную воду и замерла на мгновение — холод обжёг пальцы, будто она сунула их в снег. Немного подождать, пока ткань намокнет, пока запекшаяся кровь начнет отходить.

Милица терла ткань бережно, следя, чтобы не повредить слабые места. Старая рубашка держалась на честном слове; некоторые нити уже были почти не видны, и Милица боялась, что ткань просто не выдержит и порвётся под её пальцами. Вода темнела, становилась буровой, и Милица меняла её снова и снова. Холод от воды поднимался по рукам, но она не останавливалась. И чтобы не дать себе расплакаться, она смотрела на маленькое окно, за которым покачивались ветки старого дерева. И думала о том, что Леон Веласкес — единственный человек в этой академии, который действительно заботится о других. И студенты его любят. И что она, Милица, сможет сделать для него хоть что-то.

Когда вода наконец стала прозрачной, она выжала рубашку и развесила её на верёвке, натянутой между балками. Ткань потемнела от влаги, но пятна исчезли почти полностью. Как высохнет, надо бы укрепить некоторые места штопкой... Что ж, до рассвета далеко, все успеет.

Когда Милица спустилась на третий этаж, было уже далеко полночь. Коридоры были пусты — по ночам все же студенты предпочитали спать. Преподаватели зорко следили за выполнением этого правила. Пробовали следить и за призраками, но это оказалось непродуктивно и теперь требование соблюдали только студенты.

Милица проскользнула в общую прачечную, где стояли чугунные утюги. Разогрела один на плите, дождалась, пока он станет достаточно горячим, и начала гладить.

Рубашка вскоре стала почти сухой, только манжеты и ворот оставались влажными. Девушка старательно отглаживала складки, расправляла воротник, разглаживала манжеты. Ткань под утюгом шипела, и в воздухе пахло мылом и старой, хорошо постиранной тканью. Через полчаса она наконец закончила. Ни пятен, ни складок. Чистая и свежая рубашка, как новая.

Девушка улыбнулась, прижала к себе ткань на мгновение. Вдохнула запах — теперь она пахла не кровью и не болью, а только мылом и тёплым железом, и немного им, своим хозяином. Теперь можно заштопать. Как раз к рассвету успеет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.